

рой разворачиваются судьбы России и судьба Арсеньева. С этой «музыкой сфер» сливаются воспоминания Арсеньева не только о своих предках, не только о раннем влиянии на него великих зачинателей новой русской культуры — воспоминания о Пушкине, Лермонтове, Баратынском, Гоголе, но и о гораздо более древних звуках, неизвестно как дошедших до мальчика, неизвестно кем завещанных ему, о звуках органа в древних церквях, о звоне средневековых мечей.

Тема памяти сущностно связана с темой смерти. Читая «Арсеньева», всем существом чувствуешь, что преображающая глубина бунинской памяти есть реальная власть над обезображивающим беспомыслием большевизма, что она не просто память, но уже вечная память панихиды.

Тот же «литургически пахучий дым ладана», синяя, стелется и над картинами той изумительной России, которую Бунин запечатлел в своих «странствиях» («Божье древо»). На двадцати трех страницах, написанных с предельною простотой, доступною только изощреннейшему мастерству, изображена и Россия революционного ада, и Россия нетленных святых.

Революционный ад дан сильно, но сдержанно. Никакие свои воспоминания в духе «Окаянных дней»⁸ не тревожат больше мира и правды бунинской памяти. И потому в ее глубине, в атмосфере высокой, прозрачной осенней прохлады так скорбно и все же светло возникают один за другим лики России: монастыри — Данилов⁹ в Москве, Макарьевский¹⁰ на Волге, монастырь Саввы¹¹ с собором XIV века, Троицкая лавра¹²; старинные поместья — Измайловское¹³, вотчина царя Алексея Михайловича, Троицкое Румянцева¹⁴, Остафьево¹⁵, где в кабинете Карамзина под стеклом лежат вещи Пушкина и другие не столь знаменитые, но столь же дорогие памятливому сердцу. Странствуя по монастырям и поместьям, городам и селам, Бунин то раскроет перед нами рукопись древнего монаха — «Замогильные летописи созерцания», то покажет хранящийся в лавре кафтан Ивана Грозного, то сообщит выписку из старой книги о селе Измайлове, то напомним древнее слово о суровом подвижнике. Так возникает в «странствиях» незапамятная, нерушимая Русь. В скорбном лиризме, которым исполнены «странствия», слышится острая боль, боль прощания России с Русью. Слышится и тревожный вопрос: правда ли, что не раз-

рушится нерушимое, не забудется незапамятное? И все это дано без всякой ложной романтики, без тех «петушков», что так назойливо горланят в эмигрантских излияниях, в разных наших «Пасхах» и «Вербмах», без тех «березок», что так досадно снижают подлинный лиризм эмигрантской памяти. Во всем полное отсутствие пестрой, лубочной, ярмарочно-декоративной живописности; все строгая, отчетливая иконопись.

Над «странствиями» нет эпитафии, но первый кусок их кончается словами, которые могли бы послужить таковым. Это слова ангела Господня, сказанные Иоанну Многострадальному: «Это свет твоей скорби светит тебе, Иоанн».

Кроме «странствий» в «Божьем древе» собрано Буниным сорок девять рассказов. Из них сорок шесть совсем коротеньких: от полутора страниц до восьми строк. Эти «короткие рассказы» представляют собой для русской литературы совершенно новую форму. Их чтение, не напоминая стихотворений в прозе Тургенева, вызывает в памяти, с одной стороны (что вполне естественно), короткие рассказы Петра Альтенберга¹⁶ — в особенности рассказ «Слон» совершенно альтенберговский, даже и по сюжету — а во-вторых (что далеко не так естественно), некоторые и в художественном отношении замечательные философские фрагменты Кьеркегора¹⁷. Думается, что эта последняя, не естественная ассоциация объясняется тем, что короткие рассказы Бунина выросли не только из чисто художественной жажды запечатления жизни, но и из глубокого раздумья над ней. В них раскрывается та сторона бунинского дарования, которая влекла его к стиху. Как стихи Бунина, так и короткие рассказы философичнее и метафизичнее его остальной (до арсеньевской) прозы. Почти все короткие рассказы настоены на мыслях. Читая их — один за другим, — чувствуешь, что пьешь очень крепкий и горький напиток. Крепкий потому, что Бунин глубоко честен и серьезен в своих вопрошениях, воздержан на всякую безответственную выдумку; горький потому, что он не дает никаких ответов. Последняя форма его жизненной мудрости — удивление: то восторженное, то умиленное, то гневное, то скорбное; но всегда творческое и потому всегда далекое от того дешевого скептицизма, что нередко соприкасается с пошлостью.

Одержимее всего Бунин в своих раз-